

**ПОНЯТИЯ «НАЦИИ» И «НАРОДНОСТИ»  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ  
КОНЦА 20-Х – НАЧАЛА 30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА  
В СВЯЗИ С «ПОЛЬСКИМ ВОПРОСОМ»**

Термин «народность» входит в общественно-политический словарь русской мысли в начале XIX века, наряду с распространением таких терминов, как «нация», «гражданственность» и т.п. Встречавшиеся и ранее, в этот период данные термины приобретают актуальное звучание, по разному интонируя переводимые через них ключевые для эпохи термины “civil”, “civilis” и однородные с ними. Активное использование этого «терминологического гнезда» приходится на правление Александра I, в котором в интересующем нас аспекте можно отчетливо различить два периода: (1) до Отечественной войны «гражданская риторика» используется преимущественно властью, стремящейся в «гражданственности» найти источник легитимации реформаторских планов, перезаключить общественный договор на новых основаниях; (2) после 1812 года официальное использование «гражданской риторики» идет на спад и к ней все чаще начинают прибегать оппоненты власти<sup>1</sup>. Термин «нация» во все большей степени наделяется смыслом, далеким от официального – причем враждебными оказываются как декабристские интерпретации, так и внешне совершенно лояльные «афишки» Ростопчина, поскольку в последних «народ» интерпретируется как способный иметь собственные качества, предпринимать некие собственные действия, иными словами, обретает качество субъектности вовне и помимо официальных институций. Единая субъектность «нации», актуализируемая в дискурсах конца 10-х – начала 20-х годов XIX века, все в большей степени понимается как враждебная существующей власти, поскольку формы манифестации субъектности выходят из под контроля, открывая возможность различения между субъектностью «нации», субъектностью империи и конкретными институтами (в том числе персонифицированными) последней.

Однако решающее напряжение создается не внутренними факторами истории русского общественного сознания. С особенной силой двойственный потенциал понятия «нация» демонстрирует появление в составе Российской империи нового целого, претендующего на использование национального дискурса – Польши. До конца XVIII века Российская империя не осознается в качестве многонациональной. Характерно само использование термина «империя»: его принятие Петром I являлось конвертацией царского титула в европейскую систему. Как отмечает Р. Вульпиус [1, с. 19], имперский статус имел внешне- и внутривнутриполитическое значение. Вовне провозглашение «империи» означало демонстрацию внешней мощи, впервые связав понятие империи с конкретной страной и тем самым разрывая с прежним понятием «универсальной монархии»<sup>2</sup>. Внутривнутриполитическое значение провозглашения империи гораздо реже подвергалось анализу. Рассматривая суждения современников о провозглашении Российской империи, Вульпиус фиксирует, что «они не придавали значения обширности территории России, они не акцентировали внимание на ее полиэтническом и многоконфессиональном составе или на плюралистичности ее политической организации» [1, с. 19]. В похвальном слове Петру I канцлер Головкин выделил три основных заслуги императора перед страной: (1) преумножение *славы* государства и его *известности*, (2) *сила* и *стабильность*, достигнутые государством и, наконец, самый известный пассаж: (3) деяниями Петра Россия выведена была «из “тьмы неведения на театр” славы всего света, и тако рещи, из “небытия” в “бытие”» [1, с. 19 - 20]. Провозглашение империи означало тем самым вхождение в состав «политичных» народов, принадлежность к культурному сообществу того времени.

Формирование имперского самосознания (в рамках понимания империи как многонационального государства с неравным статусом различных национальностей и задейст-

вованим инструментов господства посредством этнического неравенства) и самосознания национального протекают одновременно, взаимообуславливая друг друга. Если рост национальных настроений в 1810-е – начале 1820-х годов, обусловленный сначала наполеоновской угрозой, а затем триумфальными результатами заграничных походов русской армии, в принципе укладывался в имперскую модель<sup>3</sup>, то возникновение «польского фактора» существенно усложнило ситуацию. С одной стороны, польское национальное движение стимулировало процессы национального самосознания в России, породив сравнительно с предшествующим этапом сложные интеллектуальные образования. Факт структурного неравенства империи впервые становится доступным сознанию – но, одновременно, в ситуации подвластной оказывается нация, наделенная статусом имперской<sup>4</sup>. С другой стороны, как, в частности, отмечает А.И. Миллер, «территориальные приобретения конца XVIII и начала XIX века создали совершенно новую ситуацию. Доля православных восточных славян упала до 60%, а в империю оказались включены не только обширные области с этнически чуждым, порой пугающе непривычным населением (например – евреи, которым до той поры было запрещено селиться в России), но и многочисленная польская шляхта, у которой с созданием Царства Польского в 1815 году появился альтернативный центр культурного и политического притяжения. Автономию, пусть и более ограниченную, получили и другие новоприобретенные области – Финляндия, Бессарбия» [5, с. 56]. Дискурс «нации», «национального» больше не имеет монопольного субъекта – если на протяжении XVIII века окраинные элиты вполне успешно инкорпорировались в имперский порядок<sup>5</sup>, то к концу второго десятилетия XIX века появились альтернативные субъекты, предъявляющие претензии на использование дискурса «нации» и на утверждение множественности «наций». В рамках классического – ориентированного на руссоистскую и, шире, естественно-правовую традицию XVII – XVIII вв. – понимания «нации» это означало разрыв государственного «тела»<sup>6</sup>.

Изменение официального дискурса отчетливо фиксируется в манифесте 13 июля 1826 г., опубликованном сразу после казни декабристов. В нем воспроизводится топика консервативной мысли первых десятилетий XIX века<sup>7</sup> и впервые на уровне официальной идеологии формулируется противопоставление Западу: «Все состояния да соединяться в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на *природных свойствах народа* [выд. нами – А.Т.], где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злоумышленных. ... Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усвершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления» [цит. по: 4, с. 133 – 134]. Тем самым уже банализированные в публицистике 10-х – 1-й пол. 20-х гг. XIX в. тезисы об исконных чертах русского национального характера оказались включены в состав государственной идеологии.

Важнейшим рубежом становится польское восстание 1830 – 1831 гг. Оно продемонстрировало, что инкорпорация польской шляхты в имперскую систему не только не осуществилась, но и вряд ли возможна. Особенностью ноябрьского восстания оказалась не столько шаткость положения конституционного монарха, сколько возможность присвоения местными элитами национального дискурса и использования его в целях, принципиально конфликтующих с имперскими. Согласно А.И. Миллеру, события в Варшаве «со всей очевидностью продемонстрировали – клич “Свобода нации!” может быть орудием сепаратистских элит на окраинах империи, имперские элиты не имеют монополии на это понятие» [5, с. 57].

Растрянность официальной идеологии польскими событиями демонстрирует статья М.П. Погодина «Исторические размышления об отношении Польши к России», опубликованная в надеждинском журнале «Телескоп» в 1831 г. В ней Погодин предпринимает попытку осуществить нечто вроде «сборки дискурса», однако в результате явным образом против воли автора демонстрируются противоречия наличной идеологии. Выделим основные «ходы мысли» в данной статье:

(1) Первоначально Погодин стремится лишить Западноевропейскую историю парадигмального характера – история (а, следовательно, и актуальное политическое настоящее) Европы не сводится к истории западных народов; история славянских народов есть также ее органическая часть: «Славянская или Восточная история составляет такую же половину Европейской истории, как и Западная...»; «западной Европейской истории нельзя уразуметь вполне без знакомства с Восточною или Славянскою» [6, с. 2]. История Польши рассматривается как часть более масштабной истории славянской.

(2) Понятие «Россия» отделяется от понятия «Империя», поскольку права на обладание Волинью, Подолией, Белоруссией и т.д. обосновываются через традицию: они «издревле принадлежали к русским владениям», причем «вошли в состав Русского государства» еще ранее Суздаля или Рязани [6, с. 3]. Присоединение этих территорий в 1773, 1793 и 1795 гг. покоится на том же праве, «по какому Франция владеет Парижем, а Австрия Веною» [6, с. 2].

(3) Обладание Литвой обосновывается также исторической традицией: «Литовцы (племя по своему происхождению столь же чуждое Польше, как и России) с незапамятных времен платили дань князьям русским, наравне с прочими славянскими и финскими племенами, вошедшими в состав Русского государства. [...] Кто же может сказать, что Россия имеет на Литву меньшее право, чем Англия на Валлис или Франция на Бретань? Не говорю уже о правах Англии на Ирландию или Австрии на Ломбардию и проч. и проч., с которыми нечего и сравнивать Россию в этом отношении» [6, с. 4]. Т.е. используются одновременно аргументы от исторической традиции и взаимосвязи (Англия и Уэльс, Франция и Бретань) и в то же время Погодин отсылает к аргументу силы (Ирландия, Ломбардия), тут же снимая его. Подобное использование аргумента демонстрирует ослабление традиционной имперской логики – обладание той или иной территорией, включение этнической группы должно быть легитимировано некой изначальной (или, во всяком случае, претендующей на древность) традицией; политическое господство, аргумент от «силового преобладания» называется и тут же снимается (как уже выполнивший свою функцию указания на фактическое положение вещей).

(4) Переходя собственно к «польскому вопросу», Погодин, во-первых, соглашается с осмыслением Царства Польского как собственно Польши, непосредственного преемника польской государственности. Современное положение Царства сопоставляется с историческими прецедентами польской истории: российский император на польском престоле лишь продолжает логику призвания иностранных династий на польский трон. Аргумент о насильственном присоединении снимается Погодиным противоречивым образом: с одной стороны, он указывает на традиционные подкупы, насилия и произвол при избрании польских королей, чтобы доказать, что в Польше не бывало «избрания вольного в полном смысле этого слова» [6, с. 4 – 5]; с другой, (2) вопрошает: «я не знаю, найдется ли во всей польской истории хотя бы одно восшествие на престол благороднее Александра» [6, с. 5], переводя рассуждение в план морально-эстетический.

(5) Во-вторых, историческая судьба Польши истолковывается в моральном плане. Ее современное положение есть воздаяние за предшествующие несправедливости. За несправедливости, совершенные Польшей с начала ее истории в отношении России, «поляки заплатили нам шестандцатилетним подданством императорам Александру и Николаю» [6, с. 5 – 6]. Логика текста ведет к тому, что признать это «подданство» наказанием, но официальная позиция требует говорить о благодеяниях империи – и Погодин заключает, что в эти годы поляки «были едва ли не счастливее своих предков, [...] когда *мы завели им* [выд. нами – *A.T.*] училища, обучили войска, устроили финансы, установили суды, возбудили промышленность, облегчили судьбу поселян» [6, с. 6], т.е., независимо от намерений автора, проговаривается логика господства, имперской асимметрии, где Польша и поляки выступают исключительно в качестве объекта управления.

(6) Россия, одновременно отождествляемая и растождествляемая Погодиным с империей, господствует над Польшей по праву морального превосходства: «Россия столь

счастлива, что почти всегда имела на своей стороне справедливость наравне с силою, и достигла своего могущества – обороняясь: пример единственный, и ни одна История не сравнится чистотою с нашею в этом отношении» [6, с. 6]. Внешний успех и преобладание приходят в согласии с моралью, т.е. Россия выступает в роли ветхозаветного праведника [история Иова – через испытания к награде], обретающего за свою моральную чистоту блага земные (и тем самым противопоставляется Западу, история которого сводится к господству насилия и неправды). Уникальность России переводится далее Погодиным из универсального плана в план славянской истории: Россия единственная из славянских народов «устояла против всех ударов судьбы. Испушенная собственными долговременными бедствиями, как будто искупленная смертью единокровных государств, она возвышает величественную главу свою над их могилами, и стремится к зениту своего могущества, возывая к новой жизни те, которые Провидение к ней присоединило» [6, с. 6]. Тем самым Россия оказывается как носителем общеславянского начала, так и проводником национального возрождения славянских народов, входящих в создаваемую ею империю. В этом Погодин стремится увидеть провиденциальный план истории: «Неужели... без цели России одной досталось наследство Восточной Римской Империи, между тем как наследство Западной разошлось между многочисленными владетелями, всеми государствами Европейскими? Неужели без лихвы данный ей десять талантов? Нет. Новые наставники Истории, воспитанники Христианской Философии, вопреки глумления застарелых невежд, научат нас видеть здесь действие Проведения, которое хочет, может быть, руками сего колосса [...] рассыпать новые семена жизни, неизвестной в ветшающих государствах Европейских. С покорностью к Промыслу будем ожидать исполнения верховных его судеб, будем молиться и надеяться!» [6, с. 8].

(7) «Так! Россия и Польша соединились между собою, кажется, по естественному порядку вещей, по закону высокой необходимости для собственного и общего блага» [с. 8]. Использование семейной метафоры – братство народов славянских – переводится в концептуальный план. Погодин, утверждая значение России, целиком принимает романтический национализм и, тем самым, вынужден принимать националистическую логику и со стороны поляков: «“Независимость народов священна”, восклицают они. – Я согласен...» [6, с. 8]. Но выводы – ведущие к требованию национальной государственности – неприемлемы. Погодин пытается справиться с противоречием, используя двойную аргументацию. Во-первых, он указывает на то, что другие существующие государства объединяют разнородные народы: «Чем состояние Шотландии, Ирландии, Ломбардии, Этрурии, Венгрии, Богемии, Моравии, Греции, Сербии, Болгарии, Кроации, Славонии, Далмации, отличается в этом смысле от Польши?» [6, с. 8]. Т.е., продолжение логики польского национального движения способно разрушить весь существующий европейский политический порядок: Погодин диагностирует угрозу, исходящую от национализма<sup>8</sup>, но уходит от детального рассмотрения возникающих проблем. Во-вторых, Погодин предлагает пересмотреть само требование национальной независимости, сводя ее к автономии национальной культуры: «истинная независимость народов и людей, тождество воли с законом, царство истины, красоты и добродетели, царство Божие, может быть приобретено только просвещением, просвещением основанным на Евангелии<sup>9</sup>. А просвещению в Европе никто не мешает, или лучше, никто уже не может мешать, даже Махмуд II» [6, с. 9 – 10].

(8) Особенный интерес вызывает заключительный пассаж погодинских рассуждений, где он указывает на процессы, теперь обозначаемые как «нациестроительство»: «Давно ли независимые жители Прованса и Лангедока называли язык своих северных единоземцев собачьим лаем – а теперь сии жители, дети одного семейства, умножают свое благосостояние, пользуясь общими выгодами». Из прежних родственных народов должны образовываться крупные новые общности, по принципу «семейственному»: «Наполеон на острове Св. Елены – а он оттуда видел далеко политическим своим глазом – говорит, что все европейцы со временем *должны разделиться по родам и составить государства* [выд. нами – А.Т.]...» [6, с. 9]. Тем самым Погодин предлагает (приглушенно и сопровож-

дая легитимистскими оговорками) Польше место в «панславистском» проекте России, где последняя оказывается стержнем славянской империи, построенной на этническом принципе. Последний момент существенно важен, поскольку позволяет избежать конфессиональной вражды – и в то же время создает новые напряжения, теперь уже этнического порядка. Конфликты текущей политики предлагается снять примирением в общей цели – «панславистской утопии».

Рассмотренный текст Погодина позволяет зафиксировать основные трудности идеологических построений начала Николаевского царствования. Актуализация «национальной риторики», с одной стороны, не может быть монополизирована властью, вынуждая признавать право на данный дискурс и иных субъектов, с другой – вступает в противоречие с имперской идеей, порождая проблемы как внутри-, так и внешнеполитического плана. А.И. Миллер описывает данную ситуацию и действия властей следующим образом: «В 1820-е годы в имперских элитах постепенно растет настороженность, и с начала 1830-х годов оформляется ясно выраженное стремление вытеснить понятие *нация* и заместить его понятием *народность*. С помощью этой операции надеялись редактировать содержание понятия, маргинализировать его революционный потенциал. В то же время в практической политике имперские элиты все более активно начинают использовать методы национальной политики» [5, с. 58].

Понятие «народности», именно в силу неопределенности его наполнения, оказывается удобным для использования в рамках официальной идеологии – оно достаточно неконкретно [4, с. 143], чтобы одновременно препятствовать распространению национального дискурса<sup>10</sup> и фактически сближать «имперскую стратегию российских элит с национал-строительной стратегией других европейских империй XIX века» [5, с. 58]. Подводя итог, отметим, что «доктрина официальной народности» позволяла за счет сочетания проговариваемого и умалчиваемого достигнуть относительного равновесия имперской и национальной идеологических практик, на раннем этапе формирования национального самосознания, а ее долгая идеологическая жизнь была обеспечена утверждением «народности» в качестве некоего «пустотного» понятия, допускающего (в отличие от «нации») самые разнообразные интерпретации<sup>11</sup>.

#### Примечания

1. Показательна история «Права естественного» (1818 – 1820) А.П. Куницына: философско-правовое рассуждение, выдержанное в традициях первого периода александровского царствования, в 1819 году инкриминируется автору при ревизии Петербургского университета и квалифицируется Главным управлением училищ как текст, клонящийся к «ниспровержению всех связей семейственных и государственных».

2. В рамках средневекового христианского политического мышления империя принципиально может быть только одна – наследница Римской империи как универсальной, той, в которой родился и был переписан в правление Августа Христос [см.: 2, с. 167 – 169]. Западные державы нередко признавали за другими, незападными державами аналогичные титулы универсального содержания – например, за персидским шахиншахом или маньчжурским властителем Китая, однако во всех этих случаях западные державы находились далеко за пределами сферы собственно европейских отношений, признание было данью дипломатическому протоколу. В случае с Российской империей факт признания титула, последовавший через пару десятилетий после провозглашения, диагностировал далеко зашедший процесс разрушения сакральных оснований имперского правления.

3. Парадоксальным образом правительство Александра I избегает эксплуатации образа *imperia victrix*, стремясь, напротив, актуализировать универсальную империю на базе надконфессионального христианства [см. 3, гл. VIII – IX].

4. Показательна реакция русского образованного общества на дарование конституции Царству Польскому и на обсуждаемые в правительстве планы изменения территориальных границ Царства. Н.М. Карамзин, П.А. Вяземский, М.Ф. Орлов и др. выступают с решительными протестами – происходит столкновение либерально-гражданской модели XVIII века с протонациональным сознанием, когда права и свободы рассматриваются не как принадлежащие индивиду, но сам индивид, ими обладающий, также должен принадлежать к определенному сообществу, «гражданской нации», которая, собственно, только как целое и может быть субъектом и объектом данных прав (до предела данный взгляд окажется доведенным в «Русской Правде» Пестеля через наложение на руссоистскую политическую философию более позднего учения о культурно-гомогенной нации [4, с. 121 – 122]).

5. Окраинные элиты использовали различные стратегии лояльности – если для татарских элит или украинских старшин было свойственно ассимилироваться в российское дворянство, то для периферийных, казахских, напр., элит или для татарских элит, сохранявших мусульманство, характерна была позиция посредничества между имперским центром и местными сообществами. Остзейское дворянство, обособленное от российского и не изъявлявшее ни малейшего желания ассимилироваться, использовало стратегию династической и имперской лояльности.

6. Локальные варианты «нации» в гражданском смысле слова возникли достаточно рано, чтобы блокировать возможность продолжения гражданской риторики «нации» первого десятилетия Александровского правления. То гражданское «тело», которое надлежало собрать, оказалось уже частично структурированным иным образом – и, следовательно, на первый план выступала проблематика препятствия альтернативным членениям единого «государственного тела», а не преобразования его в гомогенное «тело нации».

7. Характерно, например, противопоставление «истинного» и «ложного» просвещения, в рамках которого восприятие западных политических идей истолковывается как недостаток просвещения: ««Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздности телесных сил, – недостатку твердых познаний должно приписать то своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель» [цит. по: 4, с. 133]. В этой связи показательное особое внимание николаевской империи к сфере образования, поскольку именно оно, устроенное и организованное надлежащим образом, должно формировать совершенных подданных. Уваровские реформы продемонстрируют ориентацию на романтические образцы: одновременно будет стимулироваться классическое образование и изучение как национального, так и «племенного» прошлого (кафедры славяноведения и т.п.). Таким образом отчетливо выделяются два плана: классика как вневременные образцы, и традиция (этнизиремая и одновременно приводимая к наличной государственности), опирающаяся на временной план.

8. «Всю Европу надобно будет поставить вверх дном, погрузить в бездну междоусобий, разъединить гражданские общества, чтоб возвратить народам, или лучше, уже семействам их прежнюю независимость, вместе с варварством» [6, с. 9].

9. Отметим отголосок надконфессионального христианства Александровской эпохи – достаточно сильно проявляющийся в «Исторических афоризмах» М.П. Погодина (1836).

10. А.И. Миллер пишет: «Вытеснение из официального дискурса понятия *нация* было прежде всего вызвано его неразрывной связью с конституцией, национальным представительством и надсловностью. Цензура преследует понятие *нация*, что можно хорошо видеть на примере печальной судьбы статей Белинского, где он пытался коснуться этих вопросов даже в весьма завуалированной форме» [5, с. 57 – 58]. К перечисленным угрозам, безусловно, следует отнести и угрозу сепаратизма окраин, в первую очередь Царства Польского и Западных губерний; в отношении последних на всем протяжении Николаевского царствования после подавления восстания 1830 – 1831 гг. проводилась политика в направлении культурной русификации и гомогенизации, тогда как в отношении Польши была избрана политика прямого силового господства (в силу бесперспективности, на взгляд власти, попыток найти компромисс с польскими элитами) [8, с. 4 – 5; 9, гл. 4].

11. В.М. Бокова пытается конкретизировать понимание С.С. Уваровым «народности», отмечая, что последний «в этом вопросе был... близок к позиции своего учителя Н.М. Карамзина, для которого народность тоже не сводилась исключительно к традиции, но была синтезом старого и нового – традиции и европейской цивилизованности, и открывала дорогу к дальнейшей эволюции, в том числе в гражданско-политическом отношении, – позиция, “западническая” в своей основе и не враждебная понятию прогресса. В то же время Уваров, очевидно, не имел конкретного, “вещного” образа понятия “народность”, который способен был бы соответствовать синтетическому принципу. Для него народность сводилась к набору неприкосновенных “народных понятий”, из которых наиболее стабильными являлись все те же православие и самодержавие. Таким образом, лично для него конструкция звучала как “православие и самодержавие есть народность”» [4, с. 143].

#### Библиографический список

1. Вульпиус, Р. Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII веке / Р. Вульпиус // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700 – 1917)*: Сб. ст. / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А.И. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – С. 14 – 41.
2. Бицилли, П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / Сост. Ф.Б. Успенский; Отв. ред. М.А. Юсим. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 808 с.
3. Зорин, А.Л. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века / А.Л. Зорин. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 416 с.
4. Бокова, В.М. Беспокойный дух времени. Общественная мысль первой трети XIX в. / В.М. Бокова // *Очерки русской культуры XIX века. Т. 4. Общественная мысль*. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – С. 17 – 152.
5. Миллер, А.И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия «нация» в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) / А.И. Миллер // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории*

Российской империи (1700 – 1917): Сб. ст. / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А.И. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – С. 42 – 66.

6. [Погодин, М.П.] Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний М.П. Погодина. 1831 – 1867 / М.П. Погодин. – М.: в типографии газеты «Русский», 1867. – VIII+240 с.

7. Пайпс, Р. Русский консерватизм и его критики: Исследование политической культуры / Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2008. – 252 с. – (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).

8. Комзолова, А.А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ / А.А. Комзолова. – М.: Наука, 2005. – 383 с.

9. Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.